

М. О. ГЕРШЕНЗОН

СТАТЬИ О ПУШКИНЕ

Со вступительной статьей
Леонида Гроссмана
ГЕРШЕНЗОН — ПИСАТЕЛЬ

Сны Пушкина

Пушкин рано заметил загадочное явление сонной грезы и на протяжении лет, как увидим, временами пристально размышлял о нем. В своих произведениях, начиная с «Руслана и Людмилы» 1817-1819 г.г., кончая «Капитанской дочкой» 1833 года, он изобразил пять сновидений. Собрав их вместе и внимательно рассмотрев, можно до некоторой степени уяснить себе общую мысль Пушкина о сновидении, если только у него сложилась такая единая мысль, или, по крайней мере, узнать характер и причины его интереса к этому явлению. В делах такого рода надо больше всего остерегаться поспешных обобщений; поэтому я разберу каждый случай отдельно, как если бы он был единственным, и только в конце попытаюсь соединить свои наблюдения в один итог, насколько это окажется возможным.

1. Сон Руслана. — Руслан уже убил своего соперника Рогдая, нашел Людмилу и везет ее сонную в Киев, где, по обещанию добродетельного Финна, она проснется. После стольких тревожений его цель достигнута; казалось бы, он должен быть счастлив. Может быть, его смутно тревожит мысль о другом его сопернике, Фарлафе, который одновременно с ним выехал на поиски Людмилы и теперь находится неизвестно где? Фарлаф труслив и коварен; возможно, что Руслан бессознательно ждет и боится вероломства с его стороны. Ночью, спешившись под курганом, сняв с седла спящую Людмилу, Руслан сидит в задумчивости; дремота понемногу одолевает его; наконец он уснул.

И снится вещей сон герою.
Он видит, будто бы княжна
Над страшной бездны глубиною
Стоит недвижна и бледна...
И вдруг Людмила исчезает,
Стоит один над бездной он...
Знакомый глас, призывный стон
Из тихой бездны вылетает...

Руслан стремится за женой —
 Стремглав летит во тьме глубокой...
 И видит вдруг перед собой:
 Владимир в гриднице высокой,
 В кругу седых богатырей,
 Между двенадцатью сынами,
 С толпою названных гостей,
 Сидит за бравыми столами.
 И так же гневен старый князь,
 Как в день ужасный расставанья;
 И все сидят не шевелясь,
 Не смея перервать молчанья.
 Утих веселый шум гостей,
 Не ходит чаша круговая...
 И видит он среди гостей
 В бою сраженного Рогдая:
 Убитый, как живой, сидит;
 Из опененного стакана
 Он, весел, пьет и не глядит
 На изумленного Руслана.
 Князь видит и младого хана,
 Друзей и недругов... и вдруг
 Раздался гуслей беглый звук
 И голос вещего Баяна,
 Певца героев и забав.
 Вступает в гридницу Фарлаф,
 Ведет он за руку Людмилу;
 Но старец, с места не привстав,
 Молчит, склонив главу унылу;
 Князья, бояре — все молчат,
 Душевные движенья кроя.
 И все исчезло — смертный хлад
 Об'емлет спящего героя.

Сон явно распадается на две части. Первая часть его: падение Людмилы в бездну, ее призывный стон оттуда и устремление Руслана ей во след есть — несомненно отражение пережитых Русланом тревог, его ужаса при исчезновении Людмилы, долгого страха за нее, неизвестности, поисков. Но вторая половина сна есть предвидение и пророчество: ведь Фарлаф действительно в эту же ночь похищает у него Людмилу и увозит ее в Киев. Сон почти полностью осуществляется на деле; только во сне Фарлаф при звуках Баяновой песни вводит Людмилу за руку в гридницу Владимира, — в действительности он внесет ее, спящую на руках, и Баяна не будет там; но, как и во сне, появление Фарлафа с Людмилой не обрадует ни Владимира, ни его гостей, — все останутся погруженными в уныние. Даже предположив в Руслане тот безотчетный страх пред Фарлафом, такое точное предвидение фактов остается загадкой.

2. Сон Марьи Гавриловны в «Метели». — Пушкин не даром снабдил этот рассказ эпиграфом из Жуковского, где

есть стих: „Вещий сон гласит печаль!“ В ночь перед бегством Марье Гавриловне снится сон. С вечера она не ложилась — укладывала вещи и писала письма. Легко представить себе ее душевное состояние в эту ночь. Она готовится совершить страшное преступление против родителей, да и сама, конечно, пугается своего поступка и неизвестной будущности, ожидающей ее за порогом родного дома. Этих мыслей достаточно, чтобы объяснить ее первый сон. Перед рассветом она бросилась на постель и задремала; „но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что в самую минуту, как она садилась в сани, чтоб ехать венчаться, отец ее останавливал ее, с мучительной быстротой тащил ее по снегу и бросал в темное, бездонное подземелье... и она летела стремглав с неизъяснимым замиранием сердца“. Этот сон, конечно, не более, как образ и воплощение тревожных чувств Марьи Гавриловны, ее страхов и угрызений совести. Но как понять ее второе сновидение? „То видела она Владимира, лежавшего на траве, бледного, окровавленного. Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешить с ним обвенчаться“. Психологическими мотивами этого сна нельзя объяснить. Положим, Марья Гавриловна втайне знает ненадежность своего возлюбленного. Владимир, конечно, не герой, он — бледная личность; Марья Гавриловна могла давно, не давая себе отчета, почувствовать в его фигуре, в глазах, в звуках его голоса — роковую обреченность, судьбу неудачника. За всем тем в ее сновидении остается неразгаданное ядро: предвидение насильственной смерти Владимира. Надо обратить внимание на одну подробность в изложении обоих снов, которой нельзя объяснить оплошностью автора. Пушкин писал обдуманно и тщательно. Действие рассказа происходит, как известно, зимою; и в первом сновидении Марьи Гавриловны, о гневе ее отца, правильно упоминаются сани и снег; очевидно, этот сон непосредственно продолжает сознательное, согласное с действительностью, мышление Марьи Гавриловны. Напротив, ее второй сон, о смерти Владимира, явно чужд ее сознанию и оторван от действительности: она видит Владимира лежащим на траве. Едва ли можно сомневаться, что этому второму сновидению Пушкин умышленно придал смысл фактического предвидения; из дальнейшего мы узнаем, что вскоре после той роковой ночи Владимир был смертельно ранен под Бородиным, 26 августа, т. е. вероятно в самом деле „лежал на траве, бледный и окровавленный“, как заранее приснилось Марье Гавриловне.

3. Сон Гринева. — Шестнадцатилетний Гринева едет в Оренбург, чтобы определиться на службу. В Симбирске, на

постоялом дворе, он проиграл большую для него сумму денег и в довершение напился пьян. С беспокойной совестью, мучимый раскаянием, он выезжает из Симбирска; конечно, вспоминает своего строгого отца, представляет себе его гнев и огорчение. К вечеру в степи путников застигает буря; сбившись с дороги, они беспомощно ждут среди вьюжной мглы, когда невдалеке показывается прохожий. Они окликают его; в темноте его нельзя разглядеть; в разговоре Гринев успевает только заметить, что мужик умен, кладнокровен, решителен; по крайней мере Гринев сознает только эти свои наблюдения, хотя бессознательно он уловил, как увидим, и многие другие черты незнакомца. Прохожий берется довести их до жилья, садится на облучок, и кибитка трогает. Дальше Гринев рассказывает так:

„Я опустил дыновку, закутался в шубу и задремал, убаюканный пением бури и качкою тихой езды.

„Мне приснился сон, которого никогда не мог я забыть и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда соображаю с ним странные обстоятельства моей жизни. Читатель извинит меня, ибо, вероятно, знает по опыту, как сродно человеку предаваться суеверию, несмотря на всевозможное презрение к предразсудкам.

„Я находился в том состоянии чувств и души, когда существенность, уступая мечтаньям, сливается с ними в неясных видениях первосония. Мне казалось, буря еще свирепствовал, и мы еще блуждали по снежной пустыне... Вдруг увидел я ворота — и въехал на барский двор нашей усадьбы. Первою мыслью моею было опасение, чтобы батюшка не прогневался на меня за невольное возвращение под кровлю родительскую, и не почел бы его умышленным послушанием. С спокойствием я выпрыгнул из кибитки и вижу: матушка встречает меня на крыльце с видом глубокого огорчения. „Тяше“, говорит она мне: „отец болен, при смерти, и желает с тобою проститься“. Пораженный страхом, я иду за нею в спальню. Вижу комната слабо освещена; у постели стоят люди с печальными лицами. Я тихонько подхожу к постели; матушка приподнимает полог и говорит: „Андрей Петрович, Петруша приехал; он воротился, узнав о твоей болезни; благослови его“. Я стал на колени и устремил глаза мои на больного. Что-ж?... Вместо отца моего вижу, в постели лежит мужик с черной бородою, весело на меня поглядывая. Я в недоумении обратился к матушке, говоря ей: „Что это значит? Это не батюшка. И с какой стати просить благословения мужика?“ — „Все равно, Петруша“, отвечала мне матушка: „это твой посаженный отец; поцелуй у него ручку, и пусть

он тебя благословит“. Я не соглашался. Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор из за спины и стал махать во все стороны. Я хотел бежать... и не мог; комната наполнилась мертвыми телами; я спотыкался о тела и скользил в кровавых лужах... Страшный мужик ласково меня кликал, говоря: „Не бойсь, подойди под мое благословение...“ Ужас и недоумение овладели мною. И в минуту я проснулся“.

И этот сон, как предыдущие два, распадается на две части. Первая — возвращение в родительский дом и болезнь отца — легко могла возникнуть из тех покаянных мыслей молодого Гринева после его безобразного кутежа в Симбирске. Но вторая половина сна — откуда она? Некоторые элементы ее несомненно даны действительностью. Очевидно, молодой Гринев и во мгле метели разглядел особенный блеск глаз и черную бороду Пугачева и почувал в нем, сам не сознавая того, большую и жестокую силу, способность к бунту и безудержный размах. И все же эту вторую часть сна никак нельзя объяснить рационально: она явно содержит в себе пророчество. Никакие наблюдения не могли дать повода Гриневу предвидеть, что этот встречный мужик станет на его глазах зачинщиком многолюдного кровопролития, что среди этого кровопролития он не только не тронет его, Гринева, но неизменно будет ласков с ним, наконец, что он действительно сыграет в отношении его роль посаженного отца, что и то, и другое, и третье, как известно, чудесным образом осуществилось впоследствии.

Из пяти сновидений, изображенных Пушкиным, я умышленно, нарушая хронологический порядок, сопоставил три: сон Руслана, сон Марьи Гавриловны и сон Гринева, потому что все три построены по одному плану. Такое тоекратное повторение плана на далеком расстоянии времени (1819—1933) несомненно доказывает, что он был продуман и сознательно усвоен Пушкиным. План этот, как мне кажется, Пушкин наметил в словах Гринева: „...то состояние чувств и души, когда существовенность, уступая мечтаньям, сливается с ними в неясных видениях первосония“. Очевидно, по мысли Пушкина, сновидение строится из элементов двоякого рода: из восприятий („существовенность“) и из свободных образов фантазии („мечтанья“); и Пушкин различает в сновидении два этапа: сначала восприятия только уступают игре воображения, затем тонут в ней. Именно так построены те три сна. В каждом из них ясно различаются — во-первых, начальная картина, где на сцене — исключительно реальные душевные образы — мысли, чувства, восприятия, непосредственно возникшие из действительности; во сне эти образы являются, конечно,

преображенными: ими уже овладевает, вступая в силу, пробуждающаяся фантазия, или, по терминологии Пушкина, „существенность уступает мечтаньям“, „чувства“ уступают „душе“. И, во вторых, последующая картина, где реальные душевные образы уже поглощены и претворены воображением. Здесь „душа“ творит уже не только формы видения, — она из едва уловимых чувственных восприятий создает грандиозные, полные иной существенности образы. Первая картина — существенность: падение Людмилы в бездну и устремление Руслана вслед за нею; отец силою удерживает Марию Гавриловну от бегства; Гринев застаёт своего отца при смерти. Вторая картина — мечтанья: Руслан видит Фарлафа, входящего с Людмилой в гробницу Владимира; Мария Гавриловна видит своего жениха окровавленным на траве; Гринев видит своего случайного вожатая разбойником и своим посаженным отцом. Последовательность каждой пары картин — точно чудесный перелет из одного мира в другой; и любопытно, что в первых двух сновидениях — Руслана и Марьи Гавриловны — Пушкин изобразил этот переход от чувственного к пророческому в виде столь обычного в сонных грезах ощущения стремительного падения вниз; раздельная черта между обоими видениями Руслана — он „стремглав летит“ в бездну, и в «Метели» Мария Гавриловна „стремглав летит в подземелье „с неизъяснимым замиранием сердца“. Должно быть, Пушкин часто испытывал во сне это чувство быстрого падения.

4. Сон Отрепьева. — Григорий Отрепьев — пока только послушник в монастыре. По всему изложению Пушкина видно, что в сознании Григория еще нет и зародыша мысли о самозванстве. Но в нем бродят странные чувства. Ничтожнейший из монастырской братии, он мечтает о ратных подвигах, о блеске и славе, и будто тайный голос нашептывает ему, что он вправе притязать на них. Он говорит Пимену, который уж верно был не ровня ему по происхождению:

Как весело провел свою ты младость!
Ты воевал под башнями Казани,
Ты рать Литвы при Шуйском отражал,
Ты видел двор и роскошь Иоанна!
Счастлив! а я от отроческих лет
По келиям скитаюсь, бедный инок!
Зачем и мне не гешиться в боях,
Не пировать за царскою трапезой?

Эта безрассудная мечта — сидеть за царским столом — могла родиться в нем только из органической самоуверенности, из смутного ощущения в себе больших и неиспользованных

сил совсем другого порядка, нежели какими он пробавляется в своем настоящем положении.

Безотчетное самосознание Григория, днем разорванное и затмеваемое действительностью, во сне сгущается и образует плотное ядро: это — завязь сна, который снится Григорию. Сон этот не случаен: Пушкин дважды указывает, что он снится Григорию уже в третий раз; очевидно, сама воля настойчиво расцветает этим ночным цветком. Вот сон Григория.

Мне снилось, что лестница крутая
Меня вела на башню; с высоты
Мне виделась Москва, что муравейник;
Внизу народ на площади кипел
И на меня указывал со смехом.
И стыдно мне, и страшно становилось, —
И, падая стремглав; я пробуждался.

Поистине, вещей сон! В сознании своего врожденного права Григорий предчувствует свое быстрое возвышение; но тут же открывается, что его самоуверенность — неполная, шаткая: он знает безотчетным знанием, что, достигнув вершины, он будет чувствовать себя узурпатором. Наполеон в своих честолюбивых мечтах, конечно, не предвидел себя ни преступным, ни смешным, а Отрепьев заранее слышит смех толпы и предчувствует свой стыд и испуг; и он очень верно соображает, что эта шаткость самодоверия неминуемо погубит его.

Итак, сон Отрепьева по содержанию совершенно психологичен, по форме символичен; в нем нет ничего чудесного, но он окажется пророческим, потому что психологически — верен. Сновидение Отрепьева целиком соткано из внутренних восприятий: он только разоблачает их; и вот характерно для мысли Пушкина, что сознание Отрепьева упорно отказывается признать их, отвергает их, как клевету и наводнение. Он называет свой сон „проклятым сном“ и говорит Пимену:

А мой покой бесовское мечтанье
Тревожило, и враг меня мутил.

Так, по мысли Пушкина, сознание слепо на вещи, уже вполне ясные бессознательному разуму.

5. Наиболее тщательно обработан Пушкиным и наиболее подробно изложен сон Татьяны в «Онегине»; Пушкин не пожалел на него целых десяти строф, точнее — 145 стихов.

Весь «Евгений Онегин» — как ряд открытых светлых комнат, по которым мы свободно ходим и разглядываем все, что в них есть. Но вот в самой середине здания — тайник;

дверь заперта, мы смотрим в окно — внутри все загадочные вещи; это „сон Татьяны“. И странно: как могли люди столько лет проходить мимо запертой двери, не любопытствуя узнать, что за нею и зачем Пушкин устроил внутри дома это тайнохранилище. Ведь ясно: он спрятал здесь самое ценное, что есть в доме, или, по крайней мере, самое заповедное. Но, может быть, именно глубина замысла и тщательная обдуманность изображения сделала этот сон из всех пяти наиболее трудным для понимания; Пушкин умел, когда хотел, прятать концы в воду. Сон Татьяны несомненно зашифрован в образах; чтобы прочесть его, надо найти ключ шифра; другими словами, надо так полно уразуметь весь сон в целом, чтобы стала понятной каждая отдельная его подробность, как необходимая часть целого. Я не берусь разгадать мысль Пушкина, — быть может, это удастся кому нибудь другому; пока же, за неимением лучшего, изложу то единственное толкование, какое встретилося мне в литературе ¹⁾.

Оно находится в крохотной десятикопеечной брошюрке, носящей не по росту и не по праву большое заглавие: „Тайна поэмы А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Автор брошюрки — С. Судьенко, издана в Твери в 1909 г. О странности ее тона могут дать представление следующие строки из предисловия: сказав об обычном пренебрежительном отношении к снам, автор заявляет, что такое отношение в общем правильно, — „но не всегда. Есть блестящие исключения. Сон библейского фараона, например, спас от голода целое государство, Египет, и послужил одной из причин переселения в это государство израильтян и тем дал толчок всей дальнейшей их истории“. И тут же непосредственно: „Сон Татьяны тоже имеет крайне важное значение“. Именно, автор полагает, что в этом сне „заключена в символическом виде загадка поэмы, тайна ее“. Как сейчас видно будет, автор смешивает символику с аллегорией: его толкование — чисто аллегорическое.

Начало сна (Татьяне снится, что она „идет по снеговой поляне, печальной мглой окружена“) объясняется так: Татьяна жила в глухой деревушке, среди тупого и невежественного общества, без единой близкой души, в полном одиночестве; итак, не был ли ее жизненный путь во всем похож на эту

¹⁾ Отмечу, впрочем, еще любопытное сообщение В. Ф. Боцяновского о том, что некоторые черты сна Татьяны — облики чудовищ — заимствованы Пушкиным частью из русской лубочной картины конца XVIII века «Бесы искушают св. Антония», частью из картины Иеронима Босха «Искушение св. Антония», («Незамеченное у Пушкина» в «Вестнике Литературы», 1921 г., № 6—7 (30—31).

картину, видимую ей во сне, „не был ли он так же холоден, как снеговая поляна, от отсутствия согревающей родительской и родственной любви и человеческих отношений знакомых? — и, идя по нем, не была ли она „печальной мглой окружена“?

Далее, бурливый ручей среди сугробов, останавливающий Татьяну, — „это та граница, то пространство, которое разделяет людей между собою и препятствует им вступать во взаимные отношения друг с другом“; он „седой“, т. е. вечный, „темный“, т. е. таинственный, „кипучий“, потому что сердечное единение, совершающееся через него, немыслимо без кипения страстей, и т. д. Через ручей перекинуты две жердочки, склеенные льдом: эти две жердочки, образующие „дрожаний, гибельный мосток“, — не что иное, как две встречи Татьяны с Онегиным, бывшие до ее сна. Онегин находится по ту сторону ручья и не он помогает Татьяне перебраться: ей помогает перейти через ручей на сторону Онегина медведь, знаменующий случай. Именно случай, смерть дяди, забросил Онегина в соседство Татьяны, и случай одновременно вернул в деревню Ленского, который и ввел Онегина в дом Лариных. После свидания с Онегиным в саду будущее затмилось для Татьяны, итти назад, т. е. разлюбить, забыть Онегина, она не может, а вперед дороги нет, впереди — мрак. Так и во сне, перейдя ручей, Татьяна видит перед собой лес, в котором дороги нет; и все же она не возвращается, а вступает в дремучую чащу и мучительно продирается сквозь нее, как мучительно идут ее дни после свидания в саду.

До сих пор сон Татьяны аллегорически изображает прошлое, а с той минуты, как она очутилась у шалаша, он становится пророчеством. Все дальнейшие видения Татьяны: пир Онегина с чудовищами, ее встреча с ним во время этого пира, появление Ольги и Ленского, ссора между Онегиным и Ленским, и смерть Ленского от руки Онегина, — „деликом и почти с буквальной точностью“ выполняются через несколько дней — в день именин Татьяны.

На этом объяснение прерывается: дальше следуют еще только загадочные строки, которыми и кончается брошюрка: „Но это не все. В нем (т. е. во сне Татьяны) заключено еще нечто, если не пророческое, то во всяком случае очень интересное и важное для людей. Это нечто — целая, довольно значительная область человеческого духа, бывшая до Пушкина недостаточно сознанный человечеством. Мыслитель-поэт обстоятельно знакомит нас с этой областью в своей великой поэме «Евгений Онегин» и главным образом во сне Татьяны. Но это достаточный предмет для самостоятельного исследования, и мы займемся им в отдельном труде“. Однако, своего заман-

чивого обещания автор за десять лет не исполнил, и „тайна поэмы А. С. Пушкина «Евгений Онегин» рискует навсегда остаться не разоблаченной.

Что сказать о выдумке Судьенки? Она соблазнительна уже тем, что представляет сон Татьяны как последовательный ряд однородных звеньев, как аллегорию от начала до конца. Другое дело — верна ли она по существу. Другой такой многочленной аллегории мы не имеем в творчестве Пушкина. Во всяком случае, одно из явлений Татьянина сна прозрачно с первого взгляда: в облике чудищ, пирующих с Онегиным в лесном шалаше, Пушкин несомненно изобразил провинциальное общество, всех этих Пустяковых, Петушковых, Гвоздевых, Фляновых, Буяновых, Харликовых, которые потом в подлинном виде наполняют дом Лариных в день именин Татьяны ¹⁾. Возможно, что снежная поляна и мгла кругом действительно изображают глухую, одинокую жизнь Татьяны, что ручей — действительно тот невидимый рубеж, который отделяет ее от широкой и шумной жизни, что две жердочки, склеенные льдом, — ее два свидания с Онегиным, и т. д. Но о таких фактических догадках можно сказать словами древнего Ксенофана:

И если-б кто нам истину открыл, —
То истина иль нет, он знать не мог бы.

Они не принудительны, потому что лишены той непосредственной очевидности, которая одна разрешает загадки.

Но оставим толкование Судьенки. Фабула сна есть только форма; эти фантастические картины и образы, которые Татьяна видит во сне, порождены ее душевным состоянием; ее душевное состояние и есть сущность, сказывающаяся в тех образах. Эта „основа“ сна настолько явственно просвечивает сквозь узор, что по крайней мере ее главные линии нетрудно разглядеть.

Самое существенное во сне Татьяны, — зерно, из которого он вырос, — без сомнения ее любовь к Онегину и ее тайное знание о нем. Она идет по снежной поляне, не сознавая, куда и зачем; то темная воля влечет ее к Онегину, и верное чутье приводит к нему. Она многое знает об Онегине, чего не сознает наяву, и ее сон являет нам эти ее знания в зримых образах. Она знает прежде всего: Онегин — царственная натура, и люди невольно чтут в нем своего властелина; на том бесовском шабаше в лесу чудовища рабски повинуются его манованиям:

¹⁾ См. о «Бесах» в моей книге «Мудрость Пушкина»

Он знак подаст — и все хлопочут;
Он пьет — все пьют и все кричат;
Он засмеется — все хохочут;
Нахмурит брови — все молчат.

Она знает: Онегин знает, что она придет, и уверенно ждет ее: он из-за пиршественного стола „в дверь украдкой глядит“ и, дождавшись наконец, услышав, что приотворилась дверь, мгновенно идет к ней, „взорами сверкая“, толкает дверь — и грозным криком: „Мое“, т. е. „она моя!“, изгоняет чудищ, чтобы остаться с нею наедине. И дальше грезится ей, что Онегин тихо увлекает ее в угол, слагает на скамью и клонит голову к ней на плечо: столько любви и нежности она знает в его сердце, — к ней! да, к ней! наперекор его холодности наяву и его рассудочным речам. Объяснение в саду предшествовало сну, но Татьяна точно не знает о нем; холодное заявление Онегина, что он не любит ее, прошло мимо нее, — она безотчетным знанием знает другое. Да, они связаны нездешними узами, она была права, когда писала ему:

То в высшем суждено совете,
То воля неба — я твоя.

Его засоренная душа не узнала ее сразу, как она узнала его. („Ты чуть вошел, — я в миг узнала“); но недаром годы спустя в его сердце вспыхнет запоздалая страсть к ней.

Она знает еще, и это ее знание всего поразительнее: она знает, что в сердце Онегина тлеет ненависть к Ленскому, которая когда-нибудь вспыхнет пожаром. Наяву этого не знает ни она, ни сам Онегин, — о Ленском нечего говорить; между тем в ее чувстве несомненно есть крупница правды. Онегин не может, не должен любить Ленского. Пушкин говорит о них:

Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой;

они стали „от делать нечего друзья“. Онегин по природе „не имеет здесь пребывающего града“, он ненавидит всякую статику, оседлость тела и духа, как болотный застой, ему страшно и подумать о том, чтобы „ограничить свою жизнь домашним кругом“, коснеть в семейном блаженстве. За эту оседлость он и презирает своих соседей-помещиков. Но Ленский хуже их, потому что он — плоть от плоти этого общества, он по духу — тот же Пустяков, Скотинин, Ларин, труп, как они, но подрумяненный молодостью, поэзией, Гёттингенством. Оседлость — его стихия, семейное блаженство — его

мечта; ему „никогда не снились“ рабство и скука семейной жизни —

Мой бедный Ленский! сердцем он
Для оной жизни был рожден.

Оттого он и выбрал Ольгу — по сродству душ, потому что и она „для оной жизни рождена“. И вот прелюдия их будущей жизни: он читает ей нравоучительный роман, — пропуская опасные места, или играет с нею в шахматы, а дома рисует ей в альбом пошлые картинки или „темно и вяло“ пишет любовные элегии. Не таковы ли были в пору сватовства отец и мать Татьяны и Ольги и толстый Пустяков со своей дородной супругой? и разве — все, что мы знаем о Ленском, не говорит за то, что, останься он жив, —

Прошли бы юношества лета,
В нем пыл души бы охладел;
Во многом он бы изменился,
Расстался с музами, женился,
В деревне, счастлив и рогат,
Носил бы стеганный халат;
Узнал бы жизнь на самом деле:
Подагру-б в сорок лет имел,
Пил, ел, скучал, толстел, хирел,
И, наконец, в своей постеле
Скончался б посреди детей,
Плаксивых баб и лекарей, —

точь в точь как Дмитрий Ларин, „Господний раб и бригадир“?

Онегин мог „от делать нечего“ коротать часы с Ленским в деревенской глуши, мог даже ласкать его до времени, „сердечно юношу любя“; его подкупали юность, романтизм и Гёттингентство, а поглубже узнать свое чувство к Ленскому мешала лень. Но нет сомнения: в нем возбуждали тошноту и любовные излияния Ленского, и его стихи, и Ольга, и их пресно-приторный роман. В глубине души его давно мучило, может быть даже не раз подмывало спугнуть это пошлое прекраснодушие, — и так человечески-понятно, что в минуту досады на Ленского он дал волю своему злому чувству, — раздражил Ленского, закружил Ольгу, как мальчишка бросает камешек в воркующих голубей! Это была только мальчишеская выходка, но она имела глубокие корни; вот почему дело сразу приняло такой серьезный оборот. Иначе Онегин не допустил бы дуэли, он, как взрослый, успокоил бы обиженного ребенка; и, даже допустив дуэль, он обратил бы ее в шутку. Но чувство темное, сильное, злое направляло его руку, когда он первый поднял пистолет и выстрелил — не на воздух, а под грудь врагу, т. е. уверенно-смертельно.

Сон Татьяны показывает, что она бессознательно знала это тайное чувство Онегина к Ленскому, неведомое ему самому. Он показывает также, что она бессознательно знала и нечто другое. Во сне она видит Онегина пылким и нежным к ней, их счастье близко; что же внезапно и бесповоротно спугнуло его? Как странно: их счастье спугнуло появление Ольги и Ленского. Напомню последнюю сцену ее сна; положив ее на скамью, Онегин клонит голову к ней на плечо, —

...вдруг Ольга входит,
За нею Ленский, свет блеснул:
Онегин руку замахнул,
И дико он очами бродит,
И незваных гостей бранит:
Татьяна чуть жива лежит.
Спор громче, громче; вдруг Евгений
Хватает длинный нож, и в миг
Повержен Ленский. Страшно тени
Сгустились; нестерпимый крик
Раздался... хижина шатнулась...
И Таня в ужасе проснулась...

Помеха их счастью — Ольга с Ленским, и Онегин убивает Ленского именно за то, что Ленский помешал его счастью с Татьяной: так бессознательно чувствует Татьяна. От Татьяны ни на минуту не укрылось своеобразие Онегина среди окружающих ее людей; он — крылатый и реет в вышине, они все бродят по земле; она и себя мыслит такую же („вообрази: я здесь одна, никто меня не понимает...“) и оттого уверена, что они предназначены друг для друга. И счастье нужно Онегину пламенное, молниеносное, а их мещанское счастье ему ненавистно — в том числе и сладенькое благополучие Ольги с Ленским. Он в ней, в Татьяне, узнал родную душу, и непременно соединился бы с нею, если бы ему не предстоял в эти дни пугающий пример, карикатура того же соединения: пошлый роман Ленского с Ольгой.

И все же во сне Татьяны, как во всех остальных четырех сновидениях, рассмотренных мною, есть предвидение факта, не поддающееся рассудочному толкованию: предвидение убийства Ленского Онегиным. В обстановке Татьяны и в ее мировоззрении убийство и даже дуэль — чудовищные, невероятные события. Глухая вражда может повести к открытому разрыву — но и только. В нормальном состоянии чувств ей никогда не могла бы померещиться такая возможность.

Пять сновидений, изображенных Пушкиным, оказались как бы пятью вариациями одной и той же темы, — до такой степени они совпадают в своих главных чертах. И это основное в них, как легко понять, выходит далеко за пределы сновидения: здесь приоткрывается перед нами общее представление Пушкина о строе и движениях человеческого духа.

Он понимал сон, очевидно, как внутреннее видение души. Едва прекратился приток новых восприятий душа как бы замыкается и остается наедине сама с собой. Она полна накопленных знаний, бесчисленных наблюдений над миром и над самой собою: теперь они все выступают в круг ее созерцания. Человек воспринимает несравненно больше того, что доходит до его сознания; несметные восприятия, тончайшие, едва уловимые, непрерывно западают в душу и скопляются в темных глубинах памяти, как в море не прекращающимся и ровным дождем падают с поверхности на дно микроскопические раковины мертвых инфузорий. Но эти бессознательные знания души не мертвы: они только затаены во время бодрствования; они живы и в сонном сознании — им раздолье. Татьяна знает многое такое об Онегине, Марья Гавриловна — о Владимире, Гринев — о Пугачеве, а Отрепьев — о самом себе, чего они отдаленно не сознают наяву. Из этих то заповедных, тонких знаний, накопленных в опыте, душа создает сновидения: такова мысль Пушкина.

Он представлял себе сонное творчество души, повидимому, однородным с деятельностью дневного ума. Эти странные знания не разрознены в памяти, не обрывки, не клочья. Они наводняют душу, но душа овладевает ими, координирует их и связывает логически; она во сне соображает, и мыслит, и создает из того материала стройные образы. Сонные грезы, изображенные Пушкиным, совершенно осмысленны, но логическое рассуждение в них подспудно и невидимо, т. е. обнаруживается уже готовым видением, зримым образом. В самом видении по ходу действия пробегают логические нити; Гринев во сне боится, что отец рассердится за его возвращение, удивляется при виде незнакомого мужика, лежащего в отцовской постели, отказывается целовать у него руку; Татьяна во сне стыдится поднять край платья, приободряется, увидав, что Онегин — хозяин на пире чудовищ, и т. д. Но эти зримые нити рассуждения связывают части уже готового образа, самый же образ, как целое, есть результат глубоко скрытого мышления, но именно не результат произвольной игры фантазии, а результат мышления, т. е. собирания и согласования тех бессознательных знаний о мире и о себе, которым сон открывает доступ в сознание.

Далее: мышление это совершенно так же, как мышление наяву не только приводит в порядок свой материал, но из его упорядоченной совокупности умозаключает вероятное в будущем. Дневной рассудок предвидит на основании грубо-чувственного знания, ночной разум предвидит на основании тончайших восприятий; и соответственно различны их предвидения. Рассудочное предвидение правдоподобно для рассудка, предвидение сна пред судом рассудка — дикий бред; но в нем скрыто пророчество мудрое и верное, потому что основанное на тончайших показаниях чувств. И опять — логический процесс предвидения и здесь остается скрытым: налицо лишь его итог — законченный пророческий образ; Отрепьев себя видит падающим с башни, Марья Гавриловна видит Владимира мертвым. Татьяна видит Онегина убивающим Ленского и т. п., — и это видение нам кажется чудом. Итак, мышление совершается не только в верхнем слое человеческого духа: оно пронизывает всю толщу духа до глубин. Самая пламенная фантастика и самое смутное чаяние еще скреплены внутренне размышлением как цементом. И я думаю, философия сновидения, которую я открываю в творчестве Пушкина, сложилась у него тоже безотчетно и вместе логически, работою разума в темной глубине души.